



Часть первая ШУМНЫЙ БЫН ТИШАЙШЕГО

На исходе ночи тонкий невидимый свет незаметно пропитал теплый июльский сумрак, окутавший Москву. С Ивана Великого звонко ударил перечеасный колокол в отдачу ночных часов. Темные громады кремлевских башен посветлели, сделались неразличимей в прозрачной полумгле. В побледневшем небе на востоке проступила узкая серебряная полоса. Стрелецкие караулы на городских стенах и безлюдных улицах, перегороженных рогатками, в последний раз прокричали протяжно-заунывное «Слушай!».

Стало свежее. Заря ширилась, пламенела. Сквозь розоватый пар, стелющийся по берегам, забелела Москва-река. На крыши теремов и изб, на купола церквей, на еще пустынные дворы, площади и торги дождем легла роса, и оттого, когда мутно-алый диск показался на небосклоне, в его лучах особенно чисто засияли золотокованные шишаки кремлевских соборов. В Чудовом и других монастырях зазвонили к заутрене.

Из чьей-то голубятни на Варварке в небо взмыла стая голубей. Множа круги в вышине, они то почти сливались с белесой синевой, то вдруг все разом вспыхивали снежной белизной.

На Красной площади, пересеченной длинными тенями, и на прилегающих к ней улицах Китай-города начали открываться торговые лавки, появились люди — крикливые разносчики товара, суетливые приказчики, горластые зазывалы, неторопливые работники с тюками на спинах, первые покупатели, благочестивые посетители ранней службы.



Золотисто-огненный шар все выше поднимался в пламенеющую синеву. Белые перистые облачка таяли в небе, предвещая тяжелый дневной зной. Тяжелел, наливался звучным однообразным гулом и нестройный людской гомон на площади перед Кремлем. Народ прибывал, теснясь все больше в мясных, сальных и масляных торговых рядах — накануне закончился Петров пост, и москвичи спешили разговеться. Щеголи, обросшие за время поста волосом в знак покаяния, торопливо исчезали за дверями изб брадобреев на Вшивом рынке, между Василием Блаженным и кремлевской стеной. Нога здесь ступала мягко, как по подушке. Время от времени из избы на улицу выскакивал мальчишка и вываливал из плетеной корзины на мостовую, заваленную свалявшимся сальным волосом, очередную копну обрезанных косм.

Со Спасской, Никольской, Житницкой улиц к кремлевским воротам съезжался служилый люд — бояре, окольные, думные дворяне, стольники, дьяки. Высоко над толпой возвышались они, сидя на дорогах, тонконогих турецких, арабских и ногайских лошадях. Народ расступался, жадно любуясь на шитые золотом кафтаны, богатую сбрую. Вот проехали князья Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Долгорукие, Милославские, Одоевские, Пронские, вот — бояре Шереметевы, Шеины, Салтыковы, Хитрово, Стрешневы. Каждого окружали гайдуки, обряженные по-казацки или на польский манер — гусарами с крыльями за спиной; те, кто победнее, довольствовались дворовой челядью. Громкими наглыми окриками и плетью свитские прокладывали путь в толпе, подшибали под ноги своим коням зазевавшимся, нахально переглядывались с чужой челядью, задирали, вызывая посвистывали, перебранивались.

Старые вельможи — те, кто уже не мог сидеть в седле, — тоже старались не уронить боярскую честь — ехали в немецких нарядных каретах, обитых бархатом, поблескивающих на солнце хрустальными стеклами, расписанными цветами и узорами; с хомутов и оглобель свисали черные лисьи хвосты, драгоценные соболя. Кареты с грохотом тряслись по бревенчатой мостовой; старики охали, придерживая руками высокие медвежьи шапки.

Порой у Спасских ворот возникала перебранка — родовитые бояре чинились, кому проехать первым. Их гайдуки нетерпеливо елозили в седлах, привставали на стременах, угрожающе звенели саблями. Горячие аргамаки под ними храпели, пригарцовывали. Вокруг них, в предвкушении драки, скапливались



любопытные; слышались насмешки, издевки, остряки подзадоривали сразу обе стороны. Наконец кто-то уступал; победитель, собрав поводья в кулак, гордо проезжал в ворота, сопровождаемый победоносным гиканьем и улюлюканьем своих гайдуков. Толпа, недовольно ворча, расходилась.

Неприязненными и боязливymi взглядами проводили любопытные карету Артамона Сергеевича Матвеева. Москвичи его недолгоблiвали — подозревали, что царский друг некрепок в православии: взял себе жену-немку, знаетcя с люторами и папешниками, завел у себя в доме немецкую музыку; поговаривали, что он читает какую-то цифирную черную книгу, такое любому доброму христианину не к лицу, а главе Аптекарского приказа и подавно — не ровен час, изведет государя. Кроме того, знали за Артамоном Сергеевичем еще одно, противное чувствам русского человека, свойство — не был царев друг охоч до вина; трезвенность его не то чтобы осуждалась, но народной любви, нет, не прибавляла.

Ближе к полудню царские слуги вынесли из Кремля длинные дубовые столы и лавки и принялись расставлять их на площади. Великий государь Алексей Михайлович праздновал крещение царевича, нареченного вчера, в Петров день, Петром же¹. Хотя угощение на столах должно было появиться только после обедни, одновременно с началом пира во дворце, вокруг них тотчас образовалась давка. Наиболее нетерпеливые отправлялись в мясные лавки и там пробовали пальцем посиневшее от порчи мясо, — достаточно ли мягко. Найдя подходящий кусок, выпивали чарку водки и закусывали сырой тухлятиной с долькой чесноку. За здоровье царевича Петра Алексеевича!

Впервые его показали людям на крестинном пиру (до тех пор держали подальше от посторонних глаз, в царицыных покоях, — чтобы уберечь от порчи; крестили в придворной церкви, в присутствии одних родителей и братьев с сестрами).

После обедни дворец наполнился шумной, нарядной толпой. Духовенство, бояре, думные люди, дворцовые чины, выборные от гостиной, суконной и черной сотен, от слобод, от городов по очереди подходили к государю со своими дарами

¹ Петр родился 30 мая 1672 г.; наступивший через два дня Петров пост заставил отложить крестины и торжественный пир по этому случаю до разговения.



и подношениями. Придворный иконописец Семен Ушаков поднес образ живоначальной Троицы и апостола Петра. Оправленная в богатый оклад икона была сделана в меру, снятую с царевича при рождении, — одиннадцать вершков в длину и три в ширину. Посмотрев на нее, царь Алексей Михайлович снова порадовался росту новорожденного царевича. После внезапной смерти в позапрошлом году старшего сына, шестнадцатилетнего царевича Алексея, он испытывал серьезную тревогу за судьбу престола. В самом деле, что же это за наказание такое? Из четырех сыновей от покойной Марии Ильиничны двое умерли, а в двух оставшихся едва душа держится: один, Федор, не может ходить на своих распухших ногах без посторонней помощи; другой, Иван, слаб телом и скорбен головой, к тому же почти ослеп... Алексей Михайлович мучился, приписывая всю вину за слабое потомство себе, своему жидкому семени. Однако теперь, после рождения Петра, он воспрянул духом. Значит, виной всему не он — Маша (хоть и нехорошо так о покойнице думать, а — правда). Стоило поменять жену, и на тебе — одиннадцать на три! Нет, этот парень здоров, Бог даст, проживет долго.

У некоторых гостей в руках были куличи — это именинники приветствовали царя. Алексей Михайлович принял подарки и приказал слугам унести их. Одаривал именинников сам. Сходил во внутренние покои, принес целый ворох драгоценных соболей, роздал, вернулся за пирогами, обнес, сходил еще раз, еще, еще; под конец вынес засахаренные фрукты, изюм, орехи, миндаль и тоже оделил ими всех, не забыв сказать каждому приветливое слово. Именинники умильно благодарили, по многу раз кланялись в землю. Царь устало улыбался; не снимая шапки, вытирал платком вспотевший лоб. Он чувствовал себя работником, хорошо сделавшим свое дело.

Ближний боярин и царев друг, любезный Сергеич — Артамон Сергеевич Матвеев, — порадовал государя счастливой вестью: в очередном номере «Немецкой газеты» писано между прочим, что в самый день рождения царевича Петра славный король французский Людовик перешел с войсками Рейн, а султан турецкий — Дунай; и первый завоевал четыре области бельгийские, второй же — Каменец и Подолию. Счастливое предзнаменование! Столь достопримечательные события предвещают новорожденному славу знаменитого воителя, страшного врагам.



Потом всех собравшихся пригласили от царского имени в Грановитую палату к крестинному столу. Это был тот самый настоящий старомосковский пир, которых потом уже не бывало на Руси.

За столом сразу возник непристойный шум. Бояре никак не могли рассесться, спорили за места. Особенно кипятился стрелецкий голова князь Иван Андреевич Хованский, по прозвищу Тараруй². Он схватился сразу с несколькими князьями, громко сравнивал их родословную со своею, приводил на память выдержки из разрядных книг, напирал брюхом, пихался. Вконец разбранившись, самовольно уехал, не спросясь царя. Алексей Михайлович побагровел, послал за ним приставов.

Крестинный стол по обычаю изобиловал сластями. Среди пряников и коврижек, среди затейливого литья из леденца и сахара нельзя было найти двух одинаковых изделий. Гости с восхищением рассматривали произведения кремлевских кондитеров. Всеобщее одобрение снискала многопудовая коврижка на царском столе, изображавшая герб Московского государства; стольники разъясняли, что каждый из двух сахарных орлов весит по полтора пуда. Не остались без внимания и сахарный Кремль с конными и пешими людьми, и крепость с пушками, и двухпудовый сахарный лебедь, и полупудовые попугай и утя.

На столе перед самим Алексеем Михайловичем стояли только блюдо с ломтями ржаного хлеба и кувшин с легкой брагой. Царь был известен своей монашеской воздержанностью в пище, но гостей потчевал отменно — блюда с жареным и вареным мясом, дичью в различных видах подавались на столы без перерыва. Кроме того, каждому из сидевших поднесли по большому блюду с разнообразными сахарами: леденцами, сушеными ягодами и фруктами, палочками корицы, полосками арбузных и дынных цукатов. Вина и водки подавали по желанию, кроме обязательных чаш, жалованных государем. Одновременно с началом пира Алексей Михайлович сделал знак чтецу, и тот принялся громко читать главу из жития святого Алексия, чтобы гости за плотским весельем не забывали о духовном.

Новорожденного внесли в палату на атласной подушечке, вышитой камнями и жемчугами. Его появление было встречено приветственными криками и нескончаемыми здравицами.

² Тараруй — болтун, бахвал.



Испуганный шумом и раздраженный непривычными запахами, царевич орал во всю мочь, но его унесли только тогда, когда была выпита последняя заздравная чаша.

Пир продолжался до глубокой ночи. Отяжелевшие, объевшиеся гости все чаще выходили в сени, щекотали над серебряными тазами гусиным перышком горло и, облегченные, возвращались за стол. В разгар веселья приставы втащили в палату упирающегося Хованского и принялись насильно сажать за стол, на отведенное ему место. Князь брыкался, лаял на соседей. Бояре уговаривали его не гневить царя, но Хованский уперся: хотя бы и велит государь ему голову отсечь, а ему не на своем месте, ниже других бояр, не сидеть. Вокруг за столами смеялись, шумели; чтец под общий гомон неслышно открывал рот, перелистывая страницы жития. Наконец приставам удалось усадить Хованского на скамью, но он тут же сполз под стол и прикрылся скатертью. Алексей Михайлович послал к нему стольника сказать, что все кругом считают его за дурака. Но спесивый упрямец стоял на своем: в животах своих холопей государь волен, а ему, потомку Гедиминовичей, ниже Сицких с Пронскими не сидеть!

Царский карла Фаддей, видя недовольство Алексея Михайловича, просеменил на коротких ножках к государеву столу. Тонким протяжным голосом громко спросил, знает ли царское величество, что рабишка его, Фаддейка, глядя на его семейное государево счастье, тоже решил жениться. Нет, не знает? Ну как же, вся Москва об этом говорит. И невеста уже есть. Красивая-прекрасивая: тоща, как осина, в косе три волосины; богатая-пребогатая, дают за ней в приданое восемь дворов бобыльих. Алексей Михайлович, давя в губах улыбку, в притворном изумлении округлил глаза. Неужто целых восемь? Гляди-ка, богатейка какая. И где ж эти дворы? — А промеж Лебедяни, на старой Рязани, не доезжая Казани, где пьяных вязали, меж неба и земли, поверх лесу и воды. А в тех дворах четыре человека в бегах да двое в бедах, осталось полтора человека с четвертью. Из хоромного строения два столба вбито, третьим покрыто — будет где жить с молодой женой. Да, чтоб не забыть: с тех же дворов свозится на всякий год насыпного хлеба на восемь амбаров без стен, да четыре пуда каменного масла, да по сорок шестов собачьих хвостов, да по сорок кадушек соленых лягушек. Да в тех же дворах сделана конюшня, а в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет, передом сечет, а задом волочет. И всего приданого по пер-



вому счету — пусто, по второму — ни кола. А у записи приданого сидели Еремей, да жених Фаддей, кот да кошка, да поп Тимошка, да сторож Филимошка. А запись писали в серую субботу, в рябой четверток, в соловую пятницу. Жениху и невесте честь и слава, а тем, кто слушал, — каравай сала.

Алексей Михайлович хохотал, вытирая слезы. Ему вторили бояре, думные, выборные; епископы и архимандриты втихомолку давились, прикрывая руками рты...

Не зря радовался Алексей Михайлович Петрушиной мере, не зря звучали здравицы в честь новорожденного — здоровье царевич действительно получил от родителей отменное: хватило на пятьдесят с лишком лет ненасытного обжорства, беспробудного пьянства и нечеловеческого напряжения душевных и телесных сил.

Круглое, набеленное лицо матери, с наведенным во всю щеку румянцем, склоняется над ним. Большие черные глаза тревожно всматриваются в его покрасневшее от натуги лицо. Что-то Петруша опорожнился нынче с трудом, крутенько, — не слишком ли жирное молоко у кормилицы?

Насколько он ее помнил, она всегда была такая — заботливая, дотошно внимательная ко всему, что касалось его. Такова нарышкинская кровь — горячая, требующая деятельности. Между тем, попав во дворец, Наталья Кирилловна долго не могла привыкнуть со своим новым положением — уж очень неожиданно дочь небогатого смоленского дворянина, бедная воспитанница в чужом доме оказалась в царском тереме. Прежде, когда жила в доме боярина Матвеева, любила она, покинув рано утром жаркую пуховую постель, спуститься вместе с дворовыми девушками в прохладный погреб, чтобы распорядиться о выдаче припасов для домашних и всей дворни, — и попутно выловить из кадушки моченое яблочко... Успевала за день и последить за уборкой в доме, и похлопотать на кухне, и посидеть с девками за рукоделием, и вывести серным цветом из пуховиков обильного клопа. Теперь ей было оставлено всего два дела: молитва, которая оберегала и спасала царство, и милостыня. От обычной женской работы ее старательно оберегали сотни услужливых рук, ежеминутно готовых выполнить любое ее желание. Но еще труднее было



ей смириться с полным затворничеством, на которое обрекал ее высокий сан царицы. Привыкшая в доме Матвеева к свободному светскому обращению, она тяжело переживала свою нынешнюю обязанность прятаться от людских глаз. Ей двадцать один год, она красива и знает об этом. Но красота ее пропадает втуне. Когда она выезжает, окна ее кареты плотно занавешены тафтой; в домовую церковь она выходит по глухо закрытой со всех сторон галерее; во время пеших выходов на богомолье ее скрывают от нескромных взоров суконные полы, несомые боярынями; даже церковную службу она вынуждена наблюдать из особого притвора, через небольшое решетчатое окошечко. Доступ к ней имеют только духовник и самые ближние к царю бояре. Однако даже отец, Кирилл Полуектович Нарышкин, пожалованный после крестин вместе с Матвеевым в окольничество, смотрит на нее с робостью и не смеет назвать доченькой. Умный, обходительный Матвеев умело удерживается на грани почтительности и доверительности; с ним легко и интересно, но, увы, — ему идет седьмой десяток. Про остальных нечего и говорить — это или враги, как Милославские³, Стрешнев, Хитрово, или скучные старики. У Натальи Кирилловны не было желания строить глазки молодым людям; ей просто не хватало того мужского восхищения, пусть и немного, которое она постоянно ощущала вокруг себя, живя в доме Матвеева.

Рождение сына на какое-то время внесло в ее жизнь недостающее разнообразие. Наталья Кирилловна отдалась заботам о новорожденном сыне со всем пылом скужающей молодой матери. Она лично следила за отделкой особых деревянных хором для царевича, пристроенных ко дворцу. Пожелала видеть стены и пол обитыми красным сукном, а спальню — посеребренной кожей. Проверила, тщательно ли обложены хлопчатой бумагой и тафтой окна. Подумав, поручила армянскому мастеру Ивану Солтанову написать в хоромы царевича сподяную оконницу: в кругу орел, а по углам — травное разноцветье; да чтоб через оконницу из хором все видно было, а с подворья

³ Милославские, родственники первой жены Алексея Михайловича, Марии Ильиничны, всячески препятствовали браку Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Они прочили царю в жены свою ставленницу, Авдотью Беляеву, и пытались опорочить Нарышкиных, обвиняя их в колдовстве. Матвеев опроверг клевету и умело отвел взоры царя от девицы Беляевой, доказав, что у ней «слишком худые руки».



в хоромах — ничего. Долго выбирала материю на колыбельку из предложенных ей мастерами образцов. Наконец соблазнилась турецким бархатом с вышитыми по алому полю большими золотыми репьями и малыми репейками серебряными; обтянуть ремни велела красным венецийским бархатом, яблоко у пялец — шелком, вытканным по серебряному полю золотыми травами. Сама набила пуховик и подушки белым лебяжьим пухом.



Царица Наталья Кирилловна

Осенью, когда Петруша начал ходить, появились новые хлопоты — нашили ему ворох носильного платьица по взрослому фасону: теплые кафтанцы — из белого атласа на собольих пупках, с пятью золотыми пуговками, из червчатого шелка с золотыми и серебряными струями и травами; холодный кафтанец, обшитый немецким плетеным кружевом; ферязь алую с серебром, с запонами, низанными жемчугом, и с двумя завязками с серебряными кистями. В подоле, в плечах — везде пущено с большим запасом. К платью подобрали богатые шапки и башмачки, усеянные жемчугами и камнями. А чтобы царевич смелее бегал, смастерили для него потешный стулец на колесах.



Но вот было переделано и то, и другое, и третье; и снова пришлось проводить дни сидя в тенистой горенке, выходявшей окнами в сад, и слушая рассеянное пение девушек, занятых рукоделием. Тут-то и пришлось кстати матвеевская затея с комедийным действием. На одном из обычных утренних приемов Алексей Михайлович, выискивая глазами в толпе бояр восковое лицо Матвеева, как всегда скромно стоявшего позади, спросил, чем новеньким порадует его сегодня любезный друг Сергеич. Матвеев помолчал, обведя взглядом бояр. Ну, православные, крепче стой на ногах! По особливому желанию государыни царицы он поручил Симеону Полоцкому перевести сладостными виршами франкскую комедию «Эсфирь», взятую из Священного Писания. Пастор Грегори из Немецкой слободы берется к осени сыграть сие комедийное действо в Преображенском государевом дворце. А чтобы царское величество мог оценить его искусство, он, Матвеев, пригласил одного пастора с его комедиантами разыграть завтра вечером у него в доме небольшое представление, называемое дивертисментом: поющий и танцующий Орфей между двумя движущимися пирамидами. Музыка будет состоять из скрипиц и флейт. Он надеется, что их царские величества почтут посещением своего холопа Артамошку.

Как он и ожидал, его слова произвели бурю. Бояре негодуяще трясли бородами, громко выражая свое возмущение. Как он смеет прельщать пресветлые государевы очи бесовским действием? Перелагать виршами Святое Писание! Это же ересь! И разве он не знает, что Григорий Великий учит христиан не преклонять свой слух к музыке, сеющей в душе многие соблазны? И потом, кто этот Орфей? Кажется, кто-то из эллинских бесов? Нет, это просто неслыханно! Ересь, сущая ересь!

Алексей Михайлович нерешительно молчал, рылся в памяти, вспоминая историю Эсфири. Еврейская девушка, избранная за красоту царем Артаксерксом в жены, вместо гордой Астини... Да это же собственная его история сватовства к Наташеньке! Ну, Сергеич, ну, друг любезный, хитер, ай хитер!.. Значит, решено, пускай пастор готовит комедию. И Наташеньке будет приятно... Все же, чтобы не раздражать бояр и духовных, распорядился, чтобы скрипиц и флейт не было. Но вечером к нему в опочивальню пришла Наташенька, нырнула под одеяло, прижалась всем своим горячим телом... Он ее по-прежнему любит? — Господи, ну конечно... — Тогда почему он хочет, чтобы она



смотрела танец Орфея без музыки? Разве музыка такой большой грех? Пускай он объяснит ей, неученой бабе, что тут плохого. Ей, например, музыка очень нравится. Играя с его рукой, она как бы нечаянно положила ее себе на грудь...

Прижавшись лицом к ее струящимся волосам, Алексей Михайлович шумно вдохнул, блаженно зажмурился. Мысли мешались, слова плыли в пустоте, легкие, бессмысленные. Скрипичи, флейты, грех... А, пустое... Обыкновенное гудящее дерево.

В танцующем под музыку Орфее действительно не оказалось ничего еретического, и Наталья Кирилловна стала торопить супруга с постановкой «Эсфири». Поздней осенью переехали в Преображенское, где рядом с новым, пахнувшим свежей смолой дворцом, будто только что вынутым из ларца, были выстроены хоромы для комедийного действа. Алексей Михайлович смотрел пьесу сидя на лавке, Наталья Кирилловна — из закрытой ложи, через окошко с решеткой. Комедия ей понравилась. Наблюдая за игрой актеров, она снова пережила все перипетии своего замужества, с приятной гордостью вспомнила, как пожилой, опытный в делах любви царь робел, точно юноша, разговаривая с ней, запинаясь, призывал глазами на помощь Матвеева. Вспомнила со стыдом и гневом о гнусных наветах, которыми Милославские пытались обесчестить ее перед государем, чтобы подсунуть ему свою девку, Авдотью Беляеву, и с неотступным вниманием и благородным удовлетворением просмотрела финальную сцену поражения гордячки Астии-Беляевой, казни клеветника Амана-Милославского и торжества мудрого Мардохая-Матвеева и добродетельной красавицы Эсфири.

Следующую комедию — «Юдифь» — она уговорила Алексея Михайловича дать летом, прямо в Кремле, уже не боясь боярских пересудов. Второе комедийное действо смотрела с бескорыстным любопытством, от души смеясь над преуморительными шутками действующих лиц. Особенно развеселила ее служанка, рассуждающая над трупом Олоферна о затруднении, в котором должен оказаться царь при виде того, как Юдифь уносит его голову. Наталья Кирилловна хохотала до слез и восторженно хлопала в ладоши. Нет, этот Симеон Полоцкий сегодня просто ее уморит! Польщенный автор, сидевший рядом с царем, тоже оценившим тонкую шутку, скромно потупился, бросив искоса благодарный взгляд на ложу, откуда доносился звонкий залиvistый смех.



Другие зимние вечера заполнялись музыкой и дивертисментами неистощимого на изящные выдумки пастора Грегори, во время которых немчин в трубы трубил, в органы играл и в литавры бил... А там — Наталья Кирилловна снова почувствовала себя брюхатой. Жизнь входила в размеренную, веками накатанную колею.



Царь Алексей Михайлович.
Неизвестный
художник, 1670-е годы

Отца он запомнил на удивление хорошо — его мягкую темно-русую бороду, полное добродушное лицо с продолговатыми ласковыми глазами, его тучное тело и неожиданно маленькие руки с редкими черными волосками на пухлых белых пальцах, — и тяжелое, пригнетенное дыхание, с которым отец, наигравшись с ним, опускал его с рук на пол или в кровать. Алексей Михайлович появлялся в детской каждый раз с новой игрушкой, большей частью иноземной, которую подбирал для малолетнего



царевича всезнающий Сергеич. Сам царь живо помнил тот безудержный восторг, в который приводила его когда-то собственная детская потеха — конь немецкой работы и немецкие же картинки, купленные для него в Овощном ряду за три алтына, а больше всего — детские латы работы немчина Петра Шальта. Теперь он хотел доставить такую же радость сыну. Входил в комнату, держа руки за спиной, целовал Петрушу в крутой лобик с темно-русыми жидкими кудряшками и, вручив ему то клавикорды с медными струнами, то цимбальцы, то механическую поющую птицу, с умилением наблюдал, как Петруша, нисколько не интересуясь звуком заморских инструментов, сразу принимался изучать их устройство — выламывал зубья в цимбальцах и клавиши в клавикордах, доставал из птицы колесики и пружинки.

На второй день рождения появился у него собственный экипаж, подаренный Матвеевым: вызолоченная маленькая карета в четыре лошадки пигмейной породы; при экипаже свита — четыре пеших карлика и урод на крохотных коньках, — они, как и должно, держались несколько в стороне от кареты, ибо к царской упряжке никого не подпускали, чтобы лихой человек не положил зелья и коренья злого ни в государевы седла, ни в узды, ни в войлок, ни в рукавки, ни в наузы, ни в ковер, ни в попонку.

Улыбающимся, благодушным, всегда склонным к веселью и шутке — таким запомнил он отца; не знал, что Алексей Михайлович предавался придворным увеселениям тем охотней, чем тяжелее давил на его плечи груз расстроенных государственных дел, чем большую суровость приходилось ему, вопреки самому себе, проявлять в своих распоряжениях. Его чрезвычайно тревожило и огорчало неустройство расколовшейся церкви. Он хотел водворить в ней порядок тихо и пристойно, не возбуждая страстей и соблазнов, но обе враждовавшие стороны делались все непримиримее по отношению друг к другу и все дерзостней обвиняли его в попустительстве другой стороне.

По складу своего характера Алексей Михайлович любил, чтобы вокруг него все были веселы и довольны; невыносимее всего для него была мысль, что кто-нибудь им недоволен, ропщет на него, что он кого-нибудь стесняет. Чувствуя вину перед своим собинным другом, царь послал в Ферапонтов монастырь примиряющее письмо, в котором просил прощения у опального патриарха, испрашивал у него благословения для себя и всей



царской семьи. Надеясь на примирение, медлил с выборами нового патриарха. Но Никон грубо отказал в благословении, хотя, видимо, обрадовался возобновлению переписки. Вслед за ответным письмом он прислал чернеца, прося выдать ему из государственной аптеки лекарства: масло деревянное, ладан росный, скипидар, травы чечуй, целибоху и зверобой, нашатырь, квасцы, купорос, камфару, камень безуй — хотел похвастаться перед царем тем, что с успехом лечит у себя в монастыре больных. Матвеев, как глава Аптекарского приказа, получил указание выдать все просимое. Но на отказ в благословении царь не на шутку обиделся.

Вместе с тем, читая Никоновы грамотки, стайками летевшие в Москву из Ферапонтова монастыря, Алексей Михайлович с грустью видел, что его бывший друг с годами слабеет умом: стал брюзглив, занимается мелкими дразгами, ссорится с монахами, всем недоволен; несмотря на обильное содержание и богатые подарки, осаждает постоянными жалобами на оскудение и недостаток, просит прислать то новую шубу, то гостинцев, то свежей рыбы. Царь успокаивал его, слал шубы, меха, пироги, рыбу, деньги. Однако, повздыхав, согласился на поставление в патриархи митрополита Питирима, а после его скорой смерти — митрополита Иоакима.

В том же примирительном духе писал Алексей Михайлович к мятежным соловецким старцам, седьмой год сидевшим в осаде за крепкими монастырскими стенами. Воеводе Ивлеву отослал грамоту о прощении всем раскаявшимся, приказал никакой тесноты старцам и воинского промысла над монастырем не чинить. Ивлев в ответ донес, что за ту великую государеву милость монахи держали меж собой черный собор, на котором положили за великого государя богомолье оставить, имена его и царицыно из синодика выскрести и про него, великого государя, говорили такие неистовые слова, которые не только записать, но и слышать страшно. Рассерженный Алексей Михайлович направил в подмогу Ивлеву воеводу Мещеринова с шестью сотнями стрельцов, пушками и строгим наказом быть на Соловецких островах неотступно и над соловецкими ворами чинить всякий воинский промысел, чтобы их воровство и мятеж искоренить неотложно.

Но, несмотря на строгие меры, раскол все глубже проникал в Христово тело. Вот уже и бабы занялись богословием — срамота!



Бояре и духовные давно нашептывали царю, что в самой Москве двое сестер, боярыня Федосья Прокопьевна Морозова и княгиня Евдокия Урусова, обратили свои дома в раскольниковьи гнезда, сеют соблазн в святой столице, перед самими пресветлыми государевыми очами. Алексей Михайлович до поры не слушал доносчиков — обе женки были близки ему как дочери брата покойного Бориса Ивановича Морозова, которого царь почитал вторым отцом. Кроме того, Федосью Прокопьевну он искренне уважал — во всей Руси она одна могла поспорить с ним в знании чина церковного богослужения, в тонкой искушенности по части молитв и поста. Но всему есть пределы! Когда упрямая боярыня, брезгавшая всякого общества никоиан, отказалась присутствовать на царском крестинном пиру, Алексей Михайлович был вынужден дать ход делу против оскорбительницы государева достоинства. Княгиню Урусову арестовали вместе с сестрой. Раздетых до пояса, их вздернули на дыбу, пытали огнем, потом на несколько часов бросили на снег. Они лежали, истерзанные, с вывихнутыми лопатками, страшно-безмолвные. Ведомая стрельцами мимо царского дворца из Сысканого приказа в подземную тюрьму, Морозова с усилием подняла изувеченную пыткой, окованную железом руку и осенила себя двуперстным крестом. Алексей Михайлович, смотревший на нее из окна, понял, что этот жест предназначался для него. Он, со смирением и без особых колебаний принявший в свое время все церковные нововведения (никогда не спорил с Никоном по причине страшной святости этих вопросов), неприятно смутился: в стойкости Морозовой было что-то непонятное и тревожное. Может быть, есть истина и в этом упорстве? И потом, после осуждения сестер, он, побуждаемый каким-то потаенным чувством, не раз ездил в монастырь, где была заточена Морозова, подолгу простаивал под окнами ее кельи, справлялся через бояр о ее нуждах; но внутри не заходил, словно опасаясь чего-то.

А тут еще пришла весть о новом, дотоле неслыханном еретическом неистовстве — самосожжении раскольников в Нижнем Новгороде и некоторых заволжских скитах. Алексей Михайлович совсем растерялся, сник. Он не знал, что делать с этими людьми.

Утомившись делами, Алексей Михайлович шел развеяться к Матвееву; иногда брал с собой и Петрушу, который ехал позади отца в своей потешной карете. Умный Артамон Сергеевич знал,



что внутренние неурядицы в собственном государстве кажутся правителям не столь неприятными, если они имеют перед глазами примеры еще более вопиющих беспорядков в чужих странах. Старательно заправив за уши дужки очков, он раскрывал свежий номер любимой «Немецкой газеты». Быстро пробежал глазами столбцы, негромко прочищал горло. Петр, занятый разбором какой-нибудь заморской диковины, краем уха слушал его старческий надтреснутый голос, ничего не понимая. А Матвеев, не торопясь, пересказывал содержание каждой статьи. Да, трудно стало государям хранить в чистоте и послушании врученные им Богом народы. Что делать, такие времена. Дьявол всюду строит ковы, на погибель церкви и христианскому люду. Вот из Швеции пишут, что в Далекарлии у детей обнаружилась неизвестная болезнь, сопровождающаяся обмороками и спазмами. Доктора выяснили, что причина болезни в бесовском наваждении: ведьмы по ночам возили детей на шабаш. По приказу короля церковная комиссия допросила с применением пытки триста младенцев и отроков. По их показаниям сожжены восемьдесят четыре ведьмы и пятнадцать малолетних еретиков. Добрый король аглицкий Карл II жжет своих ведьм и колдунов, немецкие курфюрсты — своих. Московская держава, по неизреченной милости Господней, от подобной напасти избавлена. Раскольники, несмотря на их заблуждения, все же остаются христианами, чуждыми общения с бесами. Его царское величество поступает мудро, разрешая им молиться в святых церквях наравне с верными сынами церкви. Гонения только возбуждают в отщепенцах жажду мученичества.

Перелистнув страницу, Матвеев продолжал. Из Парижа пишут. Сия славная столица пребывает в великом страхе перед отравителями. Злодеи действуют при помощи яда, уже окрещенного шутниками «порошком наследства». Отравлено, как полагают, пятьсот богатых купцов и знатных вельмож французских, имевших несчастье возбудить алчность своих наследников. Отцы семейств не принимают дома пищу, боясь стать жертвой своих домашних. Король Людовик учредил Огненную Палату для расследования сих происшествий. Судьи дознались, что виновные действовали при помощи знаменитой ворожеи и колдуньи Лавуазен, которая торговала ядом под видом чудодейственного средства для открытия кладов. Ей помогали



несколько священников, добавлявших яд в святое причастие. Всем им вменяются в вину также сношения с дьяволом, наведение порчи, служение дьявольских обеден перед перевернутым распятием. Тьфу, мерзость! И как Господь терпит такое! Вот к чему приводит проклятая ересь папезская! Слава Христу Спасителю, на Руси спокон веку не водилось такого богоненавистного сатанинского дела.

Артамон Сергеевич в сердцах откладывал газету и заводил занимательную, душеполезную беседу. Вдвоем с приезжим греком Николаем Спафарием, обучавшим латыни и греческому сына Матвеева, Алексея, открывали они перед любопытствующим царем кладезь своей многолетней книжной учености. Матвеев старался передавать только проверенные, достоверные знания, но не чуждался и новейших открытий. Был доволен, если удавалось втянуть царя в ученый спор. Однажды он сильно задел Алексея Михайловича за живое сообщением о том, что киевские монахи опровергли казавшееся незыблемым учение Косьмы Индикоплова, будто земля является четырехугольной, по образцу скинии Моисея. На деле она оказалась круглой и плоской, как блин. Алексей Михайлович необычайно разволновался. Не пахнет ли здесь ересью? Ой, Сергеич, смотри, не заврались бы твои монахи! Но Спафарий подтвердил: доказательства неопровержимые, со ссылками на святых отцов и Священное Писание. Царь недоверчиво хмурился, возражал, но в конце концов смирился перед авторитетом ученых киевских старцев. Присутствовавший при разговоре Симеон Полоцкий примиряюще-наставительно процитировал сам себя:

Лучше убо, братие, святым прилежати,
а ины книги, разве с потребы читати.

Для развлечения садились играть в шашки или шли в другую палату смотреть новоприобретенные картины першпективного письма. Матвеев пояснял: вот падение Иерусалима, вот князь Владимир Святой с сыновьями, вот судья неправедный — и просил царское величество соблаговолить выбрать что-нибудь для его государевых покоев. Алексей Михайлович с удовольствием соблаговолял.



*Царевич Петр в детстве.
С рисунка из рукописи «Корень
российских государей», XVII век*

Во время этих посещений не раз случалось Петруше уронить или поломать какую-нибудь дорогую вещь. Тогда отец, мягко побранив его, начинал смущенно оправдываться перед хозяином, который предупредительно молчал, поглаживая редкую седую бородавку.

Что делать, младший вышел нравом не в него — в мать.

Федор, Иван — те в него, в Тишайшего: целыми днями сидят в своих покоях, не видно их и не слышно.

Этот — резов не по годам, горяч, ни минуты не посидит спокойно, все ему надо увидеть, все потрогать.

Из-за этой своей неуемной резвости осрамил однажды Петруша родителей перед всей Европой. Приехал в Москву цесарский посол Адольф Айзек говорить с великим государем о дружбе и союзе против турок. Наталья Кирилловна, как всегда, села с сыном в соседней комнате, за дверью с решетчатым окошком — тайно посмотреть на прием. Петруша, по обыкновению, расшалился, а она недоглядела — и вышел конфуз чрезвычайный. Услышав за дверью отцовский голос, Петр ту дверь распахнул настежь и выбежал в приемную палату. А Наталья Кирилловна как сидела перед дверью, так вся и предстала перед цесарским послом, не успев даже прикрыть лица рукавом. Алексей Михайлович покраснел от стыда.



Лизек вежливо опустил глаза. Черт возьми, пикантная ситуация! Увидеть московскую царицу — это почти то же самое, что проникнуть в султанский гарем. Он слышал, что одному здешнему дворянину за случайный нескромный взгляд на первую царскую супругу, Марию Ильиничну, отрубили голову. Варварская страна! Но в конце концов, дипломатические поездки в такие страны тем и хороши, что всегда увидишь что-нибудь необычное. У него, во всяком случае, впечатлений уже на целую книгу⁴.

Трехлетний Петр стоял в середине приемной палаты, с интересом рассматривая блестящими выпуклыми глазами незнакомого человека на тонких ногах, в смехотворно коротком кафтане, с огромной копной вымазанных мелом волос. Наверное, ему было трудно понять, кто это — может быть, новый шут? Тогда почему тятя не смеется и даже как будто сердится? Громко прыснув, он развернулся и побежал назад, к маменьке. Но кресло у двери уже опустело.

Не так ли спустя годы внезапно распахнет он дверь в Европу, представив на всеобщее обозрение сокровенную красоту России, которая, оторопев, стыдливо прикроется от нахального иноплеменного взора?

В последнее лето своей жизни отец взял его с собой на охоту.

Было время, когда для царской потехи устраивали в подмосковных полях и лесах большие псовые охоты, бойцы схватывались в рукопашную с медведями, на государевом дворе охотники стравливали косолапых с волками. Но с годами Алексей Михайлович к этим потехам остыл; рев, вой, окровавленные клочья мяса, торжество грубой силы — все это стало неприятно раздражать, да и увеличившаяся телесная тучность уже не позволяла, как прежде, целый день не слезать с седла, преследуя лисиц и оленей.

Зато осталось одно, навсегда любимое развлечение — соколиная охота. Тут уж Алексей Михайлович был охотник достойный, настоящий, страстный, — никогда не мог вдоволь

⁴ Перу Лизека принадлежат «Сказания Адольфа Лизека о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю Московскому Алексею Михайловичу в 1675 году», где содержится первое из известных упоминаний иностранцев о Петре.



налюбоваться красивым, легким полетом благородных птиц, их стремительным, молниеносным ударом.

Сокол — птица царственная, свободная, гордая. Приручить его — дело тонкое, искусное, требующее терпения и бережности. Каждый год царские ловчие, разъезжавшие по Сибири и северным лесам, присылали десятки диких соколов, кречетов, ястребов, кобчиков, дермлигов в Москву, на Сокольничий двор, где опытные сокольники обучали их для государевой охоты. Начинали с того, что несколько суток не давали птице спать — от этого сокол становился вялым, безучастным и позволял надеть на свою голову колпачок, а на ноги — путы. Затем его на сутки оставляли без пищи, после чего брали на руку и кормили, сняв колпак. Давали им только отборное мясо — иногда баранину, иногда говядину, чаще же всего кормили соколов голубями, которых для этой цели держали на царской голубятне — больше ста тысяч пар. Когда птица была исклобучена, ее принимались вабить — звать, приманивать: сажали в избе на стул, а сокольник с кусочком мяса в кулаке постепенно увеличивал расстояние, которое сокол должен был пролететь, чтобы, сев охотнику на руку, получить пищу. Повторяли то же в поле, держа птицу на шнурке, а затем, истомив ее трое суток бессонницей, выпускали в поле без шнурка, но с опутанными ногами и снова вабили на приманку в кулаке. Добившись того, что сокол по зову охотника покорно садился на руку, начинали стравливать ему дичь: вначале подбрасывали в воздух битых уток, голубей, сов, ворон, потом напускали на живых птиц, держа на шнурке и позволяя только заклевать добычу; пищу сокол вновь получал из кулака сокольника. Наконец, последнее, чему обучали соколов, была борьба с другими сильными, опасными птицами — цаплями, коршаками, сарычами, которых они могли встретить в поле, во время охоты. Для первой схватки коршаков ослепляли, а цаплям надевали футляр на клюв, чтобы они не убили или не покалечили неопытного молодого сокола. И только после всего этого обученного хищника выпускали на свободную охоту, без шнурка и пут. Делалось это всегда в присутствии самого Алексея Михайловича, который оценивал, кто из молодняка как бы тяжел, а кто добер будет.

Приемы обучения соколов держались в секрете. Обученная охотничья птица стоила дорого и ценилась высоко, поэтому соколов и кречетов в дорогих нарядах посылали в подарок



только тем государям, в чьей дружбе царь был особенно заинтересован, — крымскому хану, польскому королю, турецкому султану. Да по правде сказать, среди правителей того времени редко можно было встретить подлинно искусных охотников и ценителей благородной забавы. Алексей Михайлович знал только одного такого — персидского шаха.

Должность царского сокольника была почетная и ответственная, среди прочих потешных дворцовых должностей наипервейшая по близости к государю. Сокольники знали над собой одного господина — самого царя и пользовались его исключительным доверием. Зато и спрашивал с них Алексей Михайлович строго, провинившихся наказывал беспощадно.

Правила соколиной охоты и обрядный чин поставления в сокольники содержались в особом уставе, который назывался «Урядник сокольничьего пути» и был составлен самим Алексеем Михайловичем. Книга эта, написанная образным русским языком, замечательна запечатленным в ней стремлением к бескорыстному любованию красотой.

Вот как происходило, например, поставление в сокольники. Утром сокольники наряжали для праздника переднюю избу Сокольничьего двора. В красном углу убирали место для царя, постелив на лавку ковер с изголовьем — шелковой подушкой из пуха диких уток. Посреди избы, усыпав сеном пол и накрыв его попоной, устраивали поляново — место для нововыборного, с четырьмя стульями по углам для пары кречетов и пары соколов. Позади полянова ставили стол, на котором раскладывали птичий наряд — клубочок из червчатого бархата, низанного жемчугом, бархатные шитые золотом и серебром нагрудник и нахвостник, серебряные колокольцы, атласные онучки и должник — кожаный шнурок, одним концом наглухо пришитый к охотничьей рукавице; рядом клали наряд сокольника — шапку горностаиную, рукавицы, золотую тесьму, перевязь с небольшой, сделанной в виде райской птицы гамаюна, бархатной сумкой, в которой хранилось государево письмо с обращением к нововыборному, наконец, вабило — свисток для подзыва птицы, охотничий рог и полотенце. Нововыборного до времени отводили в другую избу.

Когда все было готово, сокольники, обряженные в новые цветные кафтаны и желтые сафьянные сапоги, жалованные государем по случаю торжества, вставали чинно возле стола и вдоль лавок у стен. Алексей Михайлович, одетый в темно-зеленый



охотничий кафтан и желтые, как у сокольников, сапоги, входя, оглядывал избу — все ли ладно — и степенно садился на свое место.

Мало повременя, подсокольничий бережно подступал к царю:

— Время ли, государь, образцу и чину быть?

— Время, — отвечал Алексей Михайлович, — объявляй образец и чин.

Подсокольничий обращался к начальным сокольникам:

— Начальные! Время наказу и час красоте.

По этим словам сокольники принимались церемонно обрядовать кречета, которого отдавали в ведение нововыборного. Подождав, пока они закончат, подсокольничий снова благочинно подходил к царю:

— Время ли, государь, принимать, и по нововыборного посылать, и украшение уставлять?

— Время, принимай, и посылай, и уставляй.

Подсокольничий надевал рукавицу, поправившись и поучинясь, принимал кречета, крестился и становился поодаль царя, как требовал устав, смирно, урядно, человечно, тихо, бережно, весело, держа птицу честно, явно, опасно, стройно, подправительно. Постояв мало, приказывал посыльному:

— По государеву указу зови нововыборного к государственной милости, се время чести и чести его быть, и час приблизился его веселию, чтоб шел не мешкав.

Двое старых сокольников вводили нововыборного, молились, кланялись царю в землю и, поставив молодца на полено, снимали с него шапку, кушак и рукавицы. Вместо них начальные сокольники по очереди надевали на новичка взятые со стола перевязь с сумкой, золотую тесьму; рог и вабило прикрепляли за кольца у левого и правого бока. Старший начальный вставал сзади, держа до указа над головой нововыборного горностайную шапку.

Пообождав, подсокольничий кликал подъячего, который, вынув из сумки-гамаюна письмо, громогласно и торжественно зачитывал государево обращение к нововыборному, — чтобы во всем ему «добра хотеть, служить верой и правдой, и тешить нас, великого государя, от всей души своей, до кончины живота своего, и за нашей государевой охотой ходить прилежно и бесскучно, и братию свою любить как себя. А буде учнешь быть не охоч и не радостен, и во всяком нашем государевом деле непо-



слушлив, ленив, пьян, дурен, безобразен, и к подсокольничему и ко всей братии непокорен, злословен, клеветлив, нанослив, и всякого дурна исполнен, и тебе не токмо быть связану путами железными, но и за третью вину, безо всякой пощады, быть сослану на Лену». А чтобы государево слово всегда было у нововыборного перед глазами, надевали ему рукавицы с вышитыми на них картинками: на одной из них — царская милость и казна, на другой — тюрьма и казнь беспощадная.

И уstraшенный новичок кланялся и клялся служить государю верой и правдой, и тешить его, и радеть ему, и ходить за его государевой охотой до кончины живота своего.

После этого наступал самый торжественный момент обряда поставления. Подсокольничий подступал к царю и говорил таинственным языком, ведомым одним посвященным:

— Врели гор сотло?

На языке сокольников это означало: «Время ли, государь, совершать дело?»

— Сшай дар (совершай дар), — отвечал Алексей Михайлович.

Тогда подсокольничий, обратясь к нововыборному, весело и дерзостно провозглашал:

— Великий государь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя Руси самодержец, указал тебе для своей государевой охоты отдать кречета имярек и других птиц, и тебе бы ходить за его государевой охотой прилежно, с радостью от всего сердца своего, и хранить его государеву охоту, как зеницу ока, и его государя тешить безо всякой лености и хитрости до кончины живота своего!

С этими словами он отдавал ему наряженного кречета. И хотя от волнения и страха зачастую дрожали у нововыборного колени, принимал он кречета образцовато, красовато, бережно, и стоял перед государем урядно, радостно, уповательно, удивительно; и не кланялся великому государю, пока не надевали на него горностайную шапку, которая венчала все дело. И тогда сокольничья братия обступала его, поздравляла с великой царской милостью и сердечно просила впредь обещания своего не забывать, и послушания своего не оставлять, и их товарищеского совета не отменить.

А по выходе из передней избы ждал сокольников обеденный стол, накрытый по государевой к ним милости, и на том столе, на своем месте, находил нововыборный наряд кречатий, четыре золотых червонца, восемь ефимков и три



вышитых полотенца — первое государево жалованье, чтобы знал, что за царем верная служба не пропадает.

В один из дней августа 1675 года в окрестностях села Измайлова была охота на уток. Петра, одетого в охотничий кафтанец, темно-зеленый, как у батюшки, посадили на маленькую лошадку, с поклоном поднесли ему перчаточку, сделанную по руке, и дали поддержать оклобученного кречета; но птица оказалась так тяжела для его руки, что ее пришлось тут же снять, потому что кречет, боясь упасть, начал бить крыльями, задевая царевича по лицу.

Алексей Михайлович верхом подъехал вместе с Петром к воде; сокольники с птицами поскакали на другой берег пруда и встали против ветра — по ветру сокол летит неохотно. Встав напротив царя, они спустили первую птицу. Кречет взмыл в небо и повис еле заметной точкой. Алексей Михайлович до крайности напряг глаза, любуясь полетом. Салтан — добрый кречет, славится «сильным верхом». Царь был доволен, что развившаяся у него в последнее время дальноркость не мешает наслаждаться любимой потехой.

Подсокольничий доложил, что Салтан стал в лету и ждет убою. Алексей Михайлович приказал гнать уток с воды. По его знаку сокольники засвистели, забили в бубны, затрубили в рога. Утки сетью поднялись над прудом, и тут Салтан молнией грянул вниз, на мгновение исчезнув из глаз.

— Вон он, вон там, — подсказал подсокольничий царю, указав рукой на селезня, рядом с которым мирно летел Салтан.

Умный кречет играл со своей жертвой для охотничьей улады. Вот опять взмыл вверх, упал, прошелся мимо селезня, снова набрал высоту. Обезумевший от страха селезень надрывно кричал во все горло. Наконец Салтан с двадцатой ставки мякнул селезня по шее, выбив пук изумрудных с отливом перьев, плавно разлетевшихся в стороны. Раз десять перевернувшись, селезень шлепнулся в траву в полуверсте от охотников; кречет ринулся за ним.

По очереди спускали других соколов и кречетов. Кречет Бумар добыл ворона ставок с двадцати; кречет Бердяй добывал каршакаверху долгое время, а когда сбил сверху, тот хотел утечь в рощу, но кречет к роще его не допустил и добил с верхней ставки; а старый челиг Гамаюн добыл две совки — одну расшиб так, что упала неведомо где, но потом сам улетел с охоты, насилу вернули под вечер...



Алексей Михайлович возвращался в Измайлово в радостном возбуждении. А Петру охота не понравилась. Усталый, с болевшей от долгого запрокидывания головы шеей, он ехал рядом с отцом и на его беспрестанные вопросы, понравилась ли ему соколиная забава, вяло отвечал, что да, понравилась, а сам думал, что дело это скучное, нестоящее — посмотреть, как птицы летают, можно и из окна.

Так за всю последующую жизнь ни разу и не поохотился. Предпочитал государь Петр Алексеевич другие потехи.

В 1676 году на Крещение проснулся Алексей Михайлович, по обыкновению, рано, перед заутреней. День этот начался так, как начинались и другие его дни, праздничные или будничные, печальные или радостные — все равно. По его зову явились постельничий и спальники, внесли серебряный царский прибор для умывания: большой таз, кувшины с водой и мятным настоем для полоскания рта. Алексей Михайлович скинул рубаху, встал ногами в таз, радостно и страшно захохотал, подставляя свое белое, крупное тело под струи холодной воды. Спальники насухо обтерли его, снова облачили в исподнее. Лицо Алексей Михайлович умыл сам, утерся белоснежной ширинкой, чувствуя, как на щеках проступает румянец; тщательно просушил и расчесал пышную темно-русую бороду, попутно выдернув из нее седые волоски. Постельничий ловко обернул царские ноги в портянки, натянул сафьяновые сапожки. Несколько раз притопнув — не жмет ли? — царь всунул руки в поднесенный утренний шелковый кафтан и поднял их, позволяя спальникам обмотать стан кушаком. Провел ладонями по бокам, повел плечами, поправил на голове золотую шапку с оком и, удовлетворенный, отпустил прислугу.

Он желал предстать с утра перед юной женой молодым, здоровым, бодрым. Видит Бог, таким он себя и чувствовал, несмотря на одолевшую его после одевания тяжелую одышку. Алексей Михайлович чрезвычайно нравился себе в этом удобном красивом польском кафтане с рукавами до кисти и лапами чуть ниже колен, ладно приталенном. Ему очень хотелось взглянуть на себя в зеркало, хранившееся в кипарисовом ларце, который стыдливо стоял в темном углу на лавочке. Нет, нельзя, до молитвы — грех.



Царь торопливо прошел в Крестовую палату, где его уже ожидал духовник Андрей Савинович. Протопоп благословил государя, коснувшись крестом лба и щек; один из крестовых дьяков в это время поставил на налой⁵ перед иконостасом образы святых, чья память отмечалась сегодня, — преподобного Максима Исповедника, мучеников Неофита, Валериана, Кандида, Евгения, Акилы, а также мученицы Агнии-девы.

Надев очки в золотой оправе, царь раскрыл молитвенник и углубился в чтение.

После моления Андрей Савинович читал государю духовное слово. Имея в виду предстоявшие в праздник дела благотворения, выбрал подходящее место из Даниила Заточника:

— «Княже мой, господине! Явише зрак лица своего, яко глас твой сладок и образ твой красен; мед источают уста твои, и послание твое аки райский плод.

Но, веселясь многими брашнами, помяни и меня, сухой хлеб ядящего; пия сладкое питье, вспомни обо мне, пьющем стоячую болотную воду; лежа на мягких постелях под собольими одеялами, помяни меня, под единым платом лежащего и зимою умирающего, под каплями дождевыми аки стрелами сердце пронзающими.

Да не будет, княже мой, господине, рука твоя согбена на подаяние убогим: как чашею моря не исчерпать, так и подаянием твоего дома не истощить. И как невод не удерживает воду, только единые рыбы, так и ты, княже, не удерживай ни злата, ни серебра, но раздавай людям».

Смирненно выслушав поучение, Алексей Михайлович тотчас послал ближнего человека к царице спросить, как почивала. Затем сам отправился в Переднюю палату поздороваться с ней.

Вдвоем слушали заутреню в Столовой палате. Расставшись с царицей до обедни, Алексей Михайлович по обычаю сделал тайный выход в тюрьмы и богадельни в сопровождении только отряда стрельцов и подьячих Тайного приказа. Раздавал из собственных рук милостыню тюремным сидельцам, польским полоняникам, убогим и увечным, говорил утешительные слова, целовал больных в уста. После литургии сел за праздничный стол с патриархом, властями и боярами. К концу трапезы он почувствовал себя нехорошо, но остался за столом, не желая внезапным

⁵ *Налой* (устар. прост.) — *аналой* (совр.).



уходом прервать общее веселье. С побледневшим лицом досидел до конца пира и даже пошел потом смотреть комедийное действо с музыкой, как вдруг, посреди представления, тяжело задышал, заметался, стал рвать ворот на рубаше... Перепуганные бояре под руки увели царя в опочивальню.

К утру все прошло. Домашние, бояре повеселели, за обедом хором пропели многие лета. Алексей Михайлович слушал, ласково улыбался, но думал о своем. Вот она, жизнь человеческая. Ты царствуешь, ты великий государь. Казнишь и милуешь. Присоединяешь земли, приобретаешь венцы. Сидишь на отеческом престоле, не зная ни господина, ни соперников, — самодержец волею Божьей, а не людским хотением. Но в конце концов, ты всего лишь царь на час; придет она, твоя владычица, и отнимет и престол, и державу, и венцы. Первый здесь, станешь последним там. На все Его святая воля, он не смеет роптать — и без того истощил долготерпение Господне, ибо по многим своим грехам не годится и во псы, не то что в цари. Да что царство земное! Лучше быть маленькой звездочкой там, у небесного престола, нежели солнцем здесь, на земле⁶.

Алексей Михайлович молился усерднее обычного. Клад по тысяче и более земных поклонов. Посылал богатые дары церквям и монастырям. И все-таки со дня на день тянул с духовным завещанием, с последними необходимыми распоряжениями. Смерть не пугала его, но в ее близость как-то плохо верилось. Просыпаясь, он успокаивал себя: сегодня все хорошо, значит, можно отложить дела на завтра.

Большую часть времени он проводил теперь с семьей, терпеливо снося болтовню царевен, с удовольствием слушая сочиненные Федором польские вирши, подолгу беседуя с подслеповатым тихим Иваном. Обойдя днем детей от первого брака, вечером шел к Наталье Кирилловне и уже оставался у ней до ночи. Охотно возился с малышами, играл в жмурки с Петром, пугал букой двухлетнюю Наташу. Уложив детей спать, звал древних, столетних стариков, которых держал на полном иждивении при

⁶ Подлинные слова Алексея Михайловича. Любопытно, что этот царь был современником Людовика XIV, который, считая себя очень набожным человеком, в своем непомерном тщеславии присвоил себе имя Солнца и не видел ничего дурного или хотя бы смешного в том, чтобы напевать хвалебные гимны, сложенные в его честь.



дворце, и вместе с Натальей Кирилловной слушал их повествование о дальних странствиях и походах, о событиях и делах, почему-либо прочно осевших в их отягченной непомерно долгим веком памяти. Иной раз приходил Матвеев и в продолжение рассказов о старине читал вслух свою «Историю в лицах государей московских», над которой долго трудился. Сказание обрывалось на Михаиле Федоровиче. Алексей Михайлович допытывался, когда же Сергеич начнет писать историю его царствования.

— О тебе, государь, писать еще рано, — отвечал Матвеев, — ты еще и полжизни не прожил.

Слушать это было приятно.

Про себя Артамон Сергеевич, однако, думал другое. В уединенных беседах с Натальей Кирилловной осторожно убеждал ее поговорить с царем о наследнике. Конечно, Федор, как старший сын, по обычаю и должен наследовать державу. Но обычаем обычаем, а государь, кроме того, ведь может назначить себе наследника по своей воле. Например, если решит, что царевич Федор по слабости здоровья к правлению не способен... А царевич Петр, как всем известно, и телом крепок, и разумом его Бог не обидел. Но Наталья Кирилловна, глядя, как Алексей Михайлович гоняется по горенке за Петрушей, не спешила со столь щекотливым разговором. Что за страхи, в самом деле? Государь еще не в таких летах, чтобы говорить с ним о наследнике.

Кончался январь, снежный, но теплый. Небо голубело, как в марте, только воздух был еще зимний, мертвый. На двадцать девятое число Алексей Михайлович назначил большое думное сидение с боярами. Накануне, перед тем как лечь спать, он тщательно подготовился к завтрашнему заседанию. На небольшом листке записал, какие вопросы предложит на обсуждение бояр, наметил, о чем будет говорить сам, что оставит на обсуждение Думы; о каком вопросе он еще не составил мнения и не знает, как выскажутся бояре; о каком деле имеет нетвердое мнение, от которого откажется, если станут возражать. Подчеркнул те свои суждения, за которые будет упорно стоять в совете. Кое о чем навел справки, выписал цифры. Напоследок еще раз просмотрел записи; удовлетворенный, пошел спать. В опочивальне сердце вдруг зашлось, упало в пустоту, рвануло оттуда дикой болью...

Весть о несчастье тут же разнеслась по дворцу. Когда Наталья Кирилловна вместе с Петром и Матвеевым прибежали к дверям царской опочивальни, там уже толпились бояре. Они нестройно



галдели, обсуждая новость; задние поминутно справлялись о ходе дел в опочивальне у тех, кто, прикинувшись к дверной щели, наблюдал за тем, что делается внутри.

Наталя Кирилловна хотела пройти к мужу, но перед ней стеной встали ближний боярин Федор Федорович Куракин и оружейничий Богдан Матвеевич Хитрово. Не пустили, держали у дверей до тех пор, пока патриарх Иоаким, спешно совершавший над умиравшим царем обряд пострижения, не вышел из опочивальни, громко провозгласив имя наследника — Федора. Все отозвались радостной здравицей. Наталя Кирилловна с сыном кинулась в опочивальню. Ей никто не мешал.

Алексей Михайлович уже никого не узнавал. Прерывисто хрипел, отходил. В четвертом часу ночи хрип как-то сразу и легко оборвался. В опочивальне тут же началась похоронная суета, явились какие-то монашки, монахи, забегала прислуга. Наталя Кирилловна, сжав руку Петра, вышла.

Успенский собор. Заупокойная служба. Свечи, торжественное стройное пение, молитвенный шепот матери, прерываемый рыданиями... Бояре шепчутся между собой; теперь надо ждать перемен. Да, больших перемен.

Перемены действительно не заставили себя ждать. При дворе вновь взяли верх Милославские, родственники первой супруги Алексея Михайловича. В Москву возвратился Иван Михайлович Милославский, некогда по настоянию Нарышкиных сосланный воеводствовать в Астрахань. Ходил по дворцу хозяином, надолго вместе с Хитрово и Куракиным запирался у царя Федора. Вскоре посыпались опалы. Нарышкиных, отца и братьев Натали Кирилловны, разослали в дальние города; самой вдовой царице с детьми позволили жить в Москве, но не во дворце, а в селе Преображенском. Потом пришел черед Матвеева. На одном из утренних приемов во дворце его встретил боярин Родион Матвеевич Стрешнев с государевым указом: быть ему на службе в Верхотурье воеводой. Из Москвы Артамон Сергеевич выехал еще со всей подобающей его сану честью — с большой свитой и двумя пушками для безопасности в пути. Но уже в Лаишеве его догнал полуголова московских стрельцов Аужин и от государева имени потребовал выдать цифирный лечебник и двоих человек:



Ивана Еврея и карлу Захара — для розыска. Матвеев ответил, что книгу оставил в Аптекарском приказе, а людей выдал.

В неизвестности прожил он в Лаишеве месяц. Однажды среди ночи его разбудили приехавшие из Москвы думный дворянин Соковнин и думный дьяк Семенов: давай жену Ивана Еврея, давай письма, давай имение на осмотр, давай племянника, давай сына, давай всех людей! Матвеев не противился и тут — выдал всех и вся, как требовали. Самого его повели на допрос на съезжий двор — пешком, на позор людям. Взяли с него сказку с рукоприкладством, как составлялись и подносились лекарства больному царю Федору Алексеевичу. Матвеев написал, как было: что лекарства составлялись докторами Костериусом и Стефаном Симоном, и всякое лекарство отведывал прежде доктор, потом он, Матвеев, после — дядьки государевы, князя Куракин и Хитрово, а что осталось, допивал он же, Матвеев, на глазах у государя.

В ожидании царского решения перевели Матвеева в Казань. Там и объявили ему его вины: что-де лекарства он не допивал, умышляя на здоровье государя, и вызывал бесов по черной книге вместе с еретиком греческим чернецом Спафарием. И за те вины велено было отнять у Матвеева боярство и имение, людишек его отпустить по деревням, других на волю, а самого с родней сослать на вечное поселение в Пустозерск. А на пропитание положили из казны по три денежки в день на человека — вровень с другими неистовыми еретиками, содержавшимися в Пустозерском остроге: Аввакумом, Лазарем, Елифанием и Федором.